

Андрей Пермяков

**СПЛОШНАЯ
ОБЛАЧНОСТЬ**

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2013

Пермяков А. Сплошная облачность. — Санкт-Петербург:
Свое издательство, 2013. — 56 с.

ISBN 978-5-4386-0222-4

Стихи Андрея Пермякова имеют довольно отчетливую внешность. То есть перед нами сентиментализм — с легкой руки Сергея Гандлевского хочется добавить «критический» — да нет, вполне себе некритичный, всеобъемлющий. Скорее — детальный, подкрепленный конкретикой. Поэзия часто подпитывается из какого-то источника. Здесь этим источником является проза — достойный и культурно оправданный выбор автора.

Читатель, искушенный в современной литературе, припомнит Александра Переверзина. (Впрочем, здесь я должен признаться, что и из личного общения с Пермяковым знаю о его хорошем отношении к Переверзину). Характерен сдвиг: в самом, пожалуй, популярном своём стихотворении Переверзин вспоминает Харламова. В стихотворении Пермякова — Жлуктов. Разница очевидна и существенна: хоккеиста Харламова знала вся страна; хоккеиста Жлуктова — только те, кто действительно любили хоккей.

Это стихотворение («1984») стоило бы процитировать целиком, но зачем удваивать сущности — вы найдете его в книге. В нем практически отсутствуют глаголы — такое фетовское, назывное стихотворение. Вот и первое наше серьезное наблюдение: проза, на которую как бы опирается Андрей Пермяков, лишена глагола, сюжета, истории. Это не фильм, а серия фотографий; пунктир изменений только угадывается. Она (проза) ущербна именно как проза — как ущербна, на-

пример, второсортная фантастика, которой питается другой известный нынешний поэт, Федор Сваровский.

Андрей Пермяков всматривается назад. Там какие-то свидетельства жизни, что-то вроде фотоальбома, но не жизнь. Иногда автор мельком оглядывается вперед — там, впереди, отсутствие смерти, которое каждый раз констатируется с некоторой досадой.

Впрочем, как раз эту загадку, думаю, разгадать можно. Читаем у Алексея Цветкова:

*поздних зорь резеда в парнике партийном
муровали в гранит эти челюсти и тела
зимовать потому что смерти нет в противном
случае надо признать что жизнь была*

То есть смерть как бы замыкает электрический контур и обратным ходом придает предыдущей форме существования статус жизни. В отсутствие смерти то, что длится, — может быть, и не жизнь. Здесь любители театра вспомнят пьесу «Она в отсутствии любви и смерти» — и тоже по делу, но нам приличнее вспомнить поэтические образцы. Помимо Цветкова — конечно, Мандельштам («неужели я настоящий, / и действительно смерть придет?»). И — уже не отдельной аукнувшейся цитатой, а всем своим строем — эмигрантская поэзия первой волны, начиная с моего любимого Георгия Иванова, с его «отвратительного вечного покоя». Сквозная тема недостоверного бытия, бытия-обмана.

Это внутреннее содержание стихов Андрея Пермякова не то чтобы плохо вяжется с первым, внешним, впечатлением, а заставляет к нему вернуться и кое-что уточнить. Возьмем ту же фотографию. Кажется, что это твердая вещь, объективнее и точнее, чем зыбкая человеческая память. Но это только кажется — фотография осмысленна, пока хоть кто-то в состоянии узнать лица на этой фотографии. То есть твердое стоит на зыбкой почве.

Андрей Пермяков не боится быть непонятым и говорит что-то очень важное. Возможно, все здание поэзии обретает

смысл благодаря таким вот темным углам. Вообще, стихам Пермякова вроде бы свойственна сдержанная интонация. Она ассоциируется у нас с мужественностью. Но тема (см. выше) настолько катастрофична, что этой сдержанности противоречит. Сдержанность здесь оправдана, по-моему, одним соображением — как некий фильтр или шлюз. То есть если эмоциональный напор будет очень сильным, то сдержаться не удастся. И такие точки прорыва впечатляют.

Но иногда автор изначально не боится пафоса — и не фальшивит:

*Апрель обижает инеем первого муравья.
Невероятные птицы звучат из стеклянного леса.
Я это ты это я это ты это я –
падают капли с надломленного навеса...*

Здесь очень хорошо это мерцающее ты-я, перекликающееся с одним стихотворением Дмитрия Веденяпина, но еще лучше эти невероятные птицы, тоже близкие к Веденяпину интонационно. Возникает ощущение полноты жизни, сиюминутного счастья, благодарности, в общем, не доминантное здесь — и поэтому особенно ценное как контрапункт.

Ещё многое здесь можно сказать. Но сохраняется главное — дистанция между внешним и внутренним, первым и вторым взглядом. Например, ложно-бардовское:

*Желтым метет, метет.
Что не прошло — пройдет.
Только совсем стальное
не превратится в лед.*

Или ложно-понятное — «очень-очень поздний Гумилев» (если вспомнить, что Гумилев погиб в 35 лет). Стихи побуждают к ним вернуться — это очень ценно.

Леонид Костюков



Вот это — между детством и другим —
бывает между листьями и снегом,
когда зеленоватый дачный дым
скользит в поселок, собранный из «Лего».

Малыш глядит на небо в две звезды,
плывя в своем голубеньком конверте.
Он смертен оттого, что смертен ты,
а ты опять не очень сильно смертен.

Смотри на свет, как будто в никуда.
Как будто ты вот этот, из коляски.
Вон — раз, два, три... четвертая звезда
роняет огонек бесцветной краски

на колкие последние цветы,
на желтый берег и неровный хворост.
Так просто и волшебно: «Всё есть ты».
Но чей тогда вот этот легкий голос?

Сон о поздней весне

Прошедшего века полуночный снег
во двор, на тетрадку похожий.
Там я-человек и другой человек,
и кто-то еще прохожий.

Снег неподвижно и страшно летит
в совсем неподвижный мрак.
Что-то пытается произойти,
но не происходит никак.

Ни для чего на апрельском ветру
снег синий и всякий качается.
Как будто я взрослый, как будто умру,
как будто чуть-чуть не считается.

Закат

Здесь немного иначе спрашивают курить —
безобидно и с выдохом говорят: «Дымишь?».
Ты «Парламента аквы» ему даешь,
ты еще поболтать чуть меньше минуты стоишь.
Справа домики, где, вроде бы, можно жить,
но вперед — там серьезная белая тишь,
и до самой до Клязьмы сплошь.

А за Клязьмою волки неаккуратные воют,
а немного южнее Див, вероятно, плачет
(нет, зимою не плачет, конечно, но к маю — может).
А в груди такое смешное скачет,
и такое сплошное скользит по коже,
что совсем никому говоришь: «Ты — тоже».
И об острые елки поранилось солнце большое.

ВДОЛЬ

Вот смотри вокруг: это мир.
А у мира есть самый край.
Там живет удмуртский медведь гондыр,
там деревня давно называется Гондырвай.

Там большая земля, а вода совсем небольшая.
Там до каждого океана леса, леса.
Там про угли не скажут «тлеют», а скажут «шáют»,
а спроси «Знаешь время?» — ответят, что полчасá.

За горою никто не живет, а дальше живут татары.
Русские тоже ходили, в земле ковыряли дыры.
Золотая и мелкая речка Большая Кивара —
золотая навеки граница уснувшего мира.

Кстати, время на их языке называется «дыр».
Это правильное название для времени и остального.
Я сказал тебе правду, что здесь кончается мир.
Я правда не знаю пока, где начинается слово.

Заморозок

Низкие горы цепочкою так похожи на ключ,
что настоящим ключам, наверное, очень обидно.
По реке Чусовой идет маломерное судно «Луч».
Небо до хруста белое — чаек почти не видно.

Здесь поворачивает на север река-сирота
с крутой стороны упругих и малорослых гор.
Хочешь сказать «комар», а говоришь «навсегда»,
хочешь сказать «пойдем», а говоришь «простор».

Холодно только. Будто на небе или наоборот.
Но всё — для тебя одного,
точно в не получившемся детстве на теткиной даче.
Это не мокрое небо, это всех вод естество
обнимает тебя, как умеет — по-медвежачьи.
И маломерное судно по черной воде идет.



Иногда хорошее случается,
А другие говорят «беда».
В человеке музыка кончается,
И другая музыка включается,
Медленная, будто навсегда.

Больше ничего не получается,
Никогда не будет получаться.
Человек деревьям улыбается,
Человек с деревьями прощается,
Человеку можно улыбаться.

Это о потерях зимних месяцев,
Это никогда не о судьбе.
Подо льдом сквозные листья светятся,
Никому, но сами по себе.

Сентябри

Тогда проводишь по воде рукой —
она мерцает (и вода мерцает);
большой закат горит, но не спасает,
горит фонарь, и в озере — другой.

Вот озеро, где восемь или две —
откуда посмотреть — прозрачных лампы
глядят на мокрый след кошачьей лапы
на неживой от инея траве.

Вот глупые, но точные слова:
к примеру, «стынь», к примеру, «отражает»,
вот криволапой горки небольшая,
склоненная к закату голова.

Жизнь происходит словно вдалеке,
а рядом только музыка играет.
Давным-давно на маленькой руке
раздавленный комар не умирает.



Дядькиного имени я не помнил,
А он говорил, он говорил: «Ну, бывает:
Вот они там бабку твою отпевают,
У тебя ведь, вроде, жива вторая?
Ну, значит, помрет и вторая.
Я так думаю: нет никакого рая.
Тело, конечно, вечное — трава из него вырастет,
рябинка обязательно вырастет,
ничего сложного.
И тебя тут рядом положат, будешь лежать, как положено.
А душа — это типа сырости:
Ветер подул — и нету.
Только...». Тут я и вспомнил дядькино имя.
Он глотнул, потушил сигарету,
еще говорил: душа, душа, тело.
Птичка вылетела и улетела.
Фотографии получились плохими.
Фотографии тогда проявляли особенным ядом.
А еще их надо было в специальную воду класть.
Рябина не прижилась.
Дядя Толя давно лежит рядом.

В одну реку

«Сдается полдома на лето или надолго».

Объявления на остановке похожи на неровные облака.
Там, где сдается полдома, есть маленькая рыжая Волга —
потом она вырастет, это станет немного другая река.

Женщина пишет номер. Собирается снять полдома,
женщина хочет купить половину жизни.
Женщина хочет, чтоб на крыльце лежала солома,
а в сентябре на капусте ползали сизые слизни.

На месте большого завода появится небольшая кузница,
похожая на маленькую кузницу из большой детской книжки.
Некрасивая бабочка превратится в разноцветную гусеницу,
от горы до другой горы полетят олимпийские мишки.

Кислые яблоки станут сладкими яблоками,
сладкий портвейн станет сладким яблочным соком,
поезд будет звенеть по окошку мелкими капельками,
провода — гудеть страшным электрическим током.

По утрам, не проснувшись, можно двигать по одеялу руками,
думать: придет пьяный папа, споет «Жил-был серенький
козлик».

Пока не услышит: «Бабушка, пойдем за грибами»?
И еще целых семнадцать мгновений после.



В парке отдыха делают пончики.
Дым уходит пустыми колечками.
Бесконечное лето закончилось,
значит, кончится все бесконечное.

Колесо обозрения медленно
переходит в режим ожидания.
По проспекту обратными петлями
небольшого оркестра рыдание.

В жалкой музыке тонкой просодией
обещание наоборот:
всякий, слышавший эту мелодию,
непременно ребенком умрет.

Нине

Падает крохотный свет
на переводные картинки.
Вот ты не застала кассет,
а я еще помню пластинки.

И отрывной календарь
в убогих картонках корок.
Там был настоящий январь:
свобода и минус сорок.

Там тонкое время плыло
и дальше хотело плыть.
И много такого было,
что больше не может быть.

Там телик показывал
меньше одной программы,
там дядька привязывал
велик на берегу.
Музыка кончилась, мама домыла раму.
Зайцы попрятались в ненастоящем снегу.

Футбол

I

Летом восьмидесятого года дорога к реке
Была возле стройки на городском стадионе.
Следы на гудроне надежней следов на песке,
Следы на горячем асфальте надежней следов на гудроне.

Ветер бросает птицу тебе в лицо,
Как телезвезду под прицел фотокамер.
Свет и вода обернулись в большое кольцо.
Ветер остановился. Нет, не остановился, но замер.

Звук черно-белой моторки перерезает зной.
Приоткрывается первая из Америк:
«Все происходит. И все происходит с тобой».
След на воде отрезает противоположный берег.

II

А на Москве-реке немножко другие чайки.
Вон одна ухватила рыбеху и уходит винтом.
Так от немецких защитников уходил Бурручага
На стадионе Пуэбла в восемьдесят шестом.

А на Москве-реке чайки с серыми головами,
Смешные и наглые почти безо всяких мер.
Рыбаки поминают их матерными словами,
Как после страшного матча Бельгия-СССР.

А количество встреч равно числу поражений.
Человек опускается на золотые доски.
Свет и вода переходят в степень смешения.
Рядом садится чайка по имени Лобановский.

И если закрыть глаза, то не было всех этих лет,
как раз потому, что все эти годы действительно были.
Ветер поправил звук, поставил правильный свет
и поднял одиннадцать столбиков чуть красноватой пыли.

Кардиология

Оказалось, сбывается многое,
только поздно и наоборот.
Окруженный бетонными блоками,
медный лев лижет мраморный лед.

Как в десятом — чужое парадное,
в нехорошем порядке слова.
Что там Быков про «рыхлое, ватное»?
Что там тянется в лапах у льва?

Так хотелось градации серого
в сером мире принять за цвета.
Оля Фридман. По мужу — Неверова.
Обнимающая пустота.

Где-то после «Ты все еще с Севою?»,
между «стой» и «поедем ко мне»
лев легонько потрогает левую,
ту, что ближе к наружной стене.

1984

Желтые автобусы. Красные трамваи.
Синие троллейбусы. Серые дома.
Много разных тряпочек к ноябрю и маю.
В Новый Год на блюдечках сыр и пасторма.

Виктор Жлуктов с шайбою. Штирлиц в телевизоре.
Marlboro армянское. Позже — Cabinet.
Гости у родителей поминали Визбора.
Дядя Слава пьяненький изломал буфет.

Брат пришел у Серого. Что-то про афганскую...
Я запомнил умное слово «царандой».
Лавки полосатые. Песни арестантские.
Мишки олимпийские. Папа молодой.

Школа

Ветер снимает дождевики, переносит недалеко:
от рубероида к луже с кипящим карбидом.
Живая вода опускается в мертвое молоко,
оставляя отметины несовершенного вида.

Апрель обижают инеем первого муравья.
Невероятные птицы звучат из стеклянного леса.
Я это ты это я это ты это я —
падают капли с надломленного навеса.

Тают над гаражами другие невероятные птицы,
у кочегарки грохочет нагруженный ЗИЛ.
Тонкие тени ложатся на тонкие лица
тех, кому уходить, и других, кто уже уходил.

12

Такое бывает в последней четверти лета,
когда кузнечики, как сумасшедшие мотопилы.
Реки становятся воздухом, свет остается светом,
и в разговорах про лето случается слово «было».

Над пляжем крутилась замученная пластинка,
на Каме негромко урчали синие земснаряды.
Арбузы и яблоки разваливались на половинки —
будто бы сами собой, будто бы так и надо.

А лето все было, было. Пластинка все пела.
И на четвертой песне все так же скакала иголка.
В последней четверти лета у тебя появилось тело.
Надолго.

Речка Истра

Цветное отражение звезды
бывает только самым ранним летом.
Собака убегает от воды,
пугаясь остановленного света.

Свет распадается на маленькие звенья,
на белый свет и золотистый свет.

Империи последние мгновенья —
давным-давно сказал один поэт.

Микрорайон

Все, кто нерусские черные, были тогда грузинами.
Только Вадим со своею матерью — ассирийцами.
Желтый бульдог подпрыгивал, будто резиновый,
дядьки на темных портретах хмурились долгими лицами.

Умный Антоша рассказывал: «Читал про ихнюю нацию.
Они были злые, а те, кто вокруг — еще хуже.
Наши-то, типа, цыгане, только собака дурацкая.
А так — не воруют, вроде, хоть и живет без мужа».

Через несколько лет в городе стало много плохих собак.
Еще через год — много всего плохого.
Вадик и тетя Алина уехали в город Судак.
Квартира освободилась, сгорела, освободилась снова.

В нынешнем изобилии темных и грустных лиц
вдруг промелькнет другое — какое было у Вади.
Так иногда в блеске велосипедных спиц
вдруг возникает карта Америки или листок тетради.

Глупость, конечно: его и мелкого-то припоминаю с усилием.
А тут еще солнце в глаза, большая такая корона
незаживающей пятиэтажной Ассирии,
более невозможного крупнопанельного Вавилона.



Говорили смешные анекдоты про Брежнева,
про армянское радио,
непонятные анекдоты про Никсона.
Портвейн разливали бережно,
тайно, как будто краденый.
Пели «Пургу над Диксоном».

Пели «Курганы темные»,
плыли семидесятые.
Майки казались огромными,
дядьки казались пузатыми.

Пели противно, вместе
про грудь и перо стальное.
Первыми кончились песни.
Потом — остальное.

К дождю

Пахнет невкусным обедом и красными грушами
(потому что на этом закате все красное).
Чайки летают над бывшим городом Тушино,
падают к смутной воде и у воды становятся разными.

Человек на соседней скамейке роняет стакан.
Другой человек односложно его ругает.
Волк привыкает к железу и попадает в капкан,
а человек вообще ко всему привыкает.

А «человек вообще» — это такое неясное,
очень смешное и, в сущности, непоправимое.
Листья ракиты свисают пологие, красные.
Капли с них падают краткие, неуловимые.



Оборотная сторона городка,
Развернутого к невеликой реке.
Теплая, маленькая рука
В теплой, казалось, большой руке.

— Представляешь, классный журнал украли.
Еще какая-то ерунда.
В марте на Среднем Урале
Воздух почти вода.
Закатывается по спирали
Правильная звезда.

Тем, что потом случилось,
Тем, чего не случилось,
И тем, что оказалось неважно,
Ты за этот март расплатилась,
А мне вот все еще страшно.

Плацкартное

Говоришь, не бывает? Вот и я говорю: не бывает.
Облако проплывает и превращается в тень.
Белый вокзал проплывает, медленно уплывает
невероятно короткий, но убывающий день.

Мальчик на боковушке, только заснув, проснется,
станет похожим на девочку и на воздушный шар.
Девочка засмеется, кто-то еще засмеется,
Розовый мячик покатится через плацкартный жар.

Правда ведь, не бывает. Дело не в расстоянии.
Скажем, по карте-двухверстке — один оборот колеса.
Общее нестроение, зимнее солнцестояние.
Смотрит с багажной полки игрушечная лиса.



Начитавшийся «Опытов», сядешь в кровати:
сон пропал и никто не друг.
Позапрошлые ходики, стрелки утратив,
тикают: «Нет рук, нет рук».

Скользит возле сада машина,
дом побеждает дрожь.
А часы с ослабевшей пружиной
шкрябают: «Штык-нож, штык-нож».

Невероятное все же бывает,
точнее, бытует — в каждом глаголе,
достигающем неба без ангелов и дураков.
Только из окон дует и капель отбивает:
«до комков в горле, до комков в горле,
до комков в горле, до комков...»

Единое

Так в белоглазой тишине
густая тень идет на дно:
негромко щелкает в огне,
негромко щелкает в окно
непобедимый тонкий страх;
звенит одно и об одном:
как будто долгий-долгий стих,
как будто тихий-тихий дом.
На языках земных.
На языке земном.

О теньях

Где речка Сестра уходит от города Клина,
но откуда еще видна надломленная золотая игла,
тихо и медленно, будто цветет малина,
летит пчела.

Одинокая между громко летающих пчел,
между шипящей листвы.
Все, что я для чего-то и просто так прочел,
немножко касалось полета этой пчелы.

Немножко казалось, что даже плохие стихи,
даже стихи с прилагательным «злой»,
даже те, что еще чуть хуже, и те, что совсем плохи,
оправданы этой продолговатой пчелой.

Самое интересное то, к чему осторожно:
вот неожиданно белая липа, тонкая, как весло.
Липа, пчела, оружие. Прочее — невозможно.
Холодно, светло, холодно. Холодно, светло.



Вот умрем — и времени не будет.
И делений времени не будет.
И стихов поэтому не будет
С правильным, классическим размером.

И, конечно, музыки не будет,
Потому музыка есть время.
Только очень маленькое время,
Сбитое до самой-самой сути.

Значит, эти арфы и волынки
Выдаются в небе для печали.
Чтобы помнить музыку и плакать.
И дождем на землю-землю капать.

Маленькая поэма

I.

- Доживу до ста, и меня не ста.
- Ленка, страшно-то как.
- Спи. У бабушки, говорят, рак.

II.

- Прости. Ну, еще один раз прости.
- Дожила же мама до восьмидесяти пяти?
- А вот те шиш: меньше нагресишь.

III.

- Иди на свет. Видишь вон там свет?
- Нет...
- На нет и Суда нет.
- Вижу, вон там вижу, чё как дурак?
- Это не свет, это такой специальный мрак.

IV.

- Там будут червь неусыпный и звезда по имени Печь?
- Звучала команда «лечь».

V.

...

VI.

- Говорят, бывает еще какая-то другая звезда.
- П. 111, § 4: «Никогда».



Не тоска — какое-то другое.
Точно на зеленом серебро:
плащик старомодного покроя
на пустом сидении в метро,

Кама, где оранжевые клены
обещаньем мелких катастроф.
Очень-очень старые иконы.
Очень-очень поздний Гумилев.

Приходивший

Пьет из голубого стакана, не может напиться,
словно в стакане прозрачное дерево, а не вода.
Говорит: «Ко мне медленно привыкают птицы,
медленно привыкают люди и даже птицы».
Пьет еще. И еще говорит: «Никогда»,
«Никогда, — говорит, — не смотри, как ты смотрел сейчас.
А кто вдруг попросит чего — отвечай: Бог подаст».

Была середина апреля необычного года.
Человек ушел в сторону города,
утонувшего в сизой вечерней заре.
Скоро звезда упала на текучие воды
и на подземные воды.
Голубой стакан разбился, кажется, в октябре.

Возвращается (не человеком, но голосом).
Никогда — во снах, чаще — когда бываю возле воды один.
Например, говорит: «Тогда у людей были красные волосы,
а еще они называли меня «господин».

Долго молчит, тихо, но часто дышит,
как человек, прошедший длинный кусок пути.
Мне интересно: дрогнет ли мой его голос, когда я услышу:
(я непременно услышу): «Лети».

Деревня Коромыслово

Женщины на пароме,
точно была война,
или еще война.
Полое небо, вода. Ничего, кроме.
Северная Двина.

Черные двое на том берегу.
Или один? Нет, двое.
Молоденькие совсем двое.
Большой хромоногий пес останавливается на бегу.
Воет.

С приездом

Из белой маршрутки вышел в четвертый том
(самая верхняя полка, корешок надорван немного):
*«грязная, издрогшая собачонка, с поджатым хвостом,
перебежала ему дорогу».*

«Пьяный в шинели... лежал поперек тротуара».
(Без шинели, конечно, и вдоль, но все равно лежал).
Решетка дышала ошметками желтого пара,
словно тяжелой землею укрыли старинный вокзал.

Берег реки, цветом похожий на сойку,
стал полупрозрачным, неторопливо качался.
Возле киоска гундосил автобус «тройка».
Город, кажется, не изменился, но отличался.

Так отличаются даже не злое и доброе:
скажем, теплый котенок и теплый томатный сок,
а так отличаются только живое и мертвое:
снег, например, и песок.

Снег, например, и апрельское одиночество.
Снег, например, ложится, не тает.
Берег качается, точно плывешь на катере.
Точно с соседом выпили, а говорить не хочется.
Точно туман не кончится, и вправду ведь не кончается;
Точно козленок варится в молоке матери.



Я напишу про ложечку в стакане.
Про поезд из Москвы на Воркуту.
Про чудо в желтой Галилейской Кане,
Про пустоту и вновь про пустоту.

Про самое-пресамое простое,
Про то, о чем сто миллионов раз,
Про лезвие блестящее, стальное.
Один стишок, две строчки, пару фраз.

Чтоб только проще, проще, проще, проще —
Как снег летит, как мотылек играет.
Сосед поет: «Вези меня, извозчик»,
И у него никто не умирает.

Рыбалка

Дерево падает в реку. Звук поглощает звук.
Целое долгое время нет ни удара, ни плеска.
Так паука съедает более крупный паук,
Так под водою сазан рывкает леску.

В мире безмолвных падений случилось еще одно.
Пустая волна до скалы отливает белым.
Тяжкое дерево тяжело идет на дно:
Слишком вода от великой луны ослабела.

Прозрачная златоглазка садится на край плота.
Пугается белой лампы, только немного поздно.
Дышит под сонным лесом вода, вода,
Плачет над мертвым лесом вода, вода,
Плавают в длинной реке давно неживые звезды.

Свет — златоглазка. Тоже не уберечь.
Только слова остаются, и только совсем простые.
А звездам и каплям дарована честная речь;
Правильно, Отче: бывают дары пустые.

Сентябрь на Сылве

В воздухе тонкие волосы.
В небе другие волосы —
белые, тонкие полосы.
Ветер поет на́ три голоса.

В воздухе тонкие волосы.
В небе — белые полосы.
Долгие облака —
чтобы наверняка.

В небо летят паутинки:
души ягнят невинных,
души ребят убитых,
души земель безвидных,
слезы озер разлитых.

Липкие паутинки.
В озере первые льдинки.
В мире моем поминки.
И навсегда поминки.

Мценск

Не закат. Закат — про другое.
Или мир сегодня другой.
Это красное как таковое
поднимается над рекой.

До сияния разогрета
неизбывная навсегда
пневма, анима, кромка света —
всевеликая пустота.

Только так. Только в отражении
совершается верный взгляд.
Алый луч завершает скольжение
у порога закрытых врат.

Просыпаясь

Они осторожные, ломкие —
две легких, скользящих на свет.
Одна золоченая, тонкая,
другая не музыка, нет.

Другая другая, холодная,
тиха, словно Чистый Четверг.
Цветной, задыхаясь в бесплотное,
померк, загорелся, померк.

Как в детстве: ищи три отличия,
где сон превращается в нить.
Родное мое безъязычие.
Родное. Нельзя говорить.

Берег

Листья плывут, и надо грустить о лете.
Только об этом лете грустить совершенно не получается.
Для чего Густав Малер придумал «Песни о мертвых детях»?
Для чего беспрестанный октябрь полгода как не кончается?

Листья плывут по нечистой воде, убогие,
Жаль октября, времени — нет, не жаль.
Дождь над рекой — легкая тавтология,
точно Владимир Даль пишет про слово «даль».

Сквозь иней идет последняя муравьиная рота.
Жизнь есть компьютерная игрушка, которая непроходима.
Над Западным Подмосковьем небо расходящихся самолетов
делается прозрачным до Нового Ерусалима.

Перышко

Желтым метет, метет.
Что не прошло — пройдет.
Только совсем стальное
не превратится в лед.

Воздух к двери бежит,
пыль на окне лежит.
Светлое, неживое,
в теплой руке дрожит.

Взрослые ждут врача,
комната горяча.
Кто прилетал за тобою
и не задел плеча?

Попутное

Владимиру Иванову

— Говорят, будто есть поезда, что идут через Кострому.
Костромы-то и нет никакой, а они сквозь нее идут.
Состав покачается на стрелке, нырнет во тьму,
а выскочит, вроде бы, тут же, однако не тут.

И тьма та — не вроде как ночь, а скорее, как дым:
ну, пахнет хорошим таким, совсем огородным дымком.
Попал ты в нее, допустим, почти молодым,
а выйдешь по виду похожим, но только в себе — стариком.

Другие там слышат слова, но об этом молчат,
хотя богатеют, женятся, много спиртного пьют.
А детишки у них нарождаются с глазами волчат,
быстро растут, уезжают и во всяких группах поют.

Катался туда из поселка парнишка, меня зазывал.
Вернулся довольный, а потом не дожил до зимы.
Слушай, вот ты вот везде побывал, все видал.
Успокой меня, а? Расскажи: правда ж, нет никакой Костромы?



Придумаю: «Ушла, оставив сны».
А надо бы спокойнее: «Не любит».
Так пишут: «Армия отходит вглубь страны»,
Когда вокруг уже ни армии, ни глуби.

Оранжевый тигренок или клен
через забор из голубиной стали
глядит на разночинный стадион:
они опять кого-то обыграли.

Прожектор разворачивает день,
как полотно на маленькой арене.
Тень обнимает маленькую тень
и шепчет тени то, что шепчут тени.



В эту погоду, когда крыши кидаются снегом
И иногда попадают,
Говоришь в телефон, будто бы говоришь с небом:
«Не пропадай?» — «Я, вроде, и не пропадаю».

А я пропадаю.

Северное

Видеть большие сосны, тоненькие ресницы,
думать о прилагательных «бывшая» и «ничья».
Черная Холуница, Белая Холуница,
Кама чуть шире Вятки, Вятка чуть шире ручья.

Странно: мы едем, однако становимся старше.
Почти начинается город, похожий на серый свет.
Полупрозрачный город, в городе девочка Маша.
Маша подарит две книжки и шоколадных конфет.

Лисенок, мелькнув за окошком, больше не повторится.
Быстро коснется пальцев маленькая рука.
Черным по белому снова: Белая Холуница —
такая она вот смешная, неправильная река.

МТС

Это ведь не от лени, и тем более не от злости —
не от лени ведь и не от злости к зиме появляются льдинки:
самые лучшие и самые долгожданные гости
всегда собираются на неожиданные поминки.

Вот он лежит, такой, в пиджаке и лысый,
а ветер забрасывает на лицо довольно широкие ленты.
По ошибке вместо «стереть» нажимаешь «вызов».
Данный вид связи недоступен для абонента.



На вокзалах они виноградные:
семафоры, вагоны, пальто.
«Эти в кепках — такие занятные!».
Почему мы всегда не про то?

«Провожающих просим...». Как скажете.
«Позвоню. Не теряйте билет».
Вы в окошко тихонько помашете,
я вам рожицу скорчу в ответ.

Эти в кепочках тоже прощаются:
угловатые, как домино.
Обнимаемый отстраняется,
обнимающему смешно.

Заводные, холодные, быстрые —
как по серому камню вода.
Закурить и смотреть в золотистое.
Жаль, сейчас не дымят поезда.



Ирине

Улицы и другие большие реки
Несут на короткой волне будущую сирень.
Человек насовсем растворяется в человеке,
День прибывает на три минуты в день.

Человек растворяется, день прибывает,
Самые глупые автовладельцы спешат на дачи.
Часто случается и долго еще бывает
То, от чего небо делается почти прозрачным.

Утром в автобусе пахнет зимними рыбаками.
Утром в автобусе кондукторша плачет в панель приборов.
Тонкая белая пена плывет по Каме,
Тонкая белая пена на яблонях вырастет очень скоро.

Между двумя людьми, посмотревшими друг на друга,
вырастают видимые всем, кроме них, паутинки.
Тетка на рынке тетке с фингалом: «Слышишь, подруга,
Возьми литру красного, сядем в обед у Нинки?».

Город с другого берега очень похож на карту.
Город между деревьями рассыпается, невообразимо летний.
Радио напоминает: «Сегодня последний день марта».
Ну, почему им так нравится дурацкое слово «последний»?

Ашан

Бывают такие люди — беременные вне очереди.
Так над кассой написано: «Беременные вне очереди».
Папа сжимает лапку своей чуть взрослеющей дочери.
Красивый, нестарый папа,
похожий на пережившего свою славу Гагарина.
И на папиной лысине, где отражается лампа,
выступает неожиданная очень испарина.
А дочка совсем не хочет держать его руку,
и рука ее вертится в папиной лапе, точно лисенок в норе.
А позади дочки маленькая совсем девочка читает по буквам:
«Бэ — е — бе — рэ — бере...»



Это — вроде огненного змия,
эти — вроде лапок паука,
желтая собака и другие,
тоже золотые облака
утекают в каменную реку
за дырявый, розоватый снег,
до того чужие человеку,
точно невозможен человек.
Точно над перегоревшей свалкой
теплоходов и другого зла
расцвела аптечная фиалка,
тонкая такая расцвела.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие Леонида Костюкова</i>	
«Вот это — между детством и другим...»	6
Сон о поздней весне	7
Закат	8
Вдоль.....	9
Заморозок	10
«Иногда хорошее случается...»	11
Сентябри.....	12
«Дядькиного имени я не помнил...»	13
В одну реку	14
«В парке отдыха делают пончики...»	15
Нине	16
Футбол	17
I	17
II	17
Кардиология.....	19
1984.....	20
Школа.....	21
12.....	22
Речка Истра	23
Микрорайон	24
«Говорили смешные анекдоты про Брежнева...»	25
К дождю	26
«Оборотная сторона городка...»	27
Плацкартное.....	28
«Начитавшийся «Опытов», сядешь в кровати...»	29
Единое	30
О тенях.....	31
«Вот умрем — и времени не будет...»	32
Маленькая поэма	33
«Не тоска — какое-то другое...»	34

Приходивший.....	35
Деревня Коромыслово.....	36
С приездом.....	37
«Я напишу про ложечку в стакане...»	38
Рыбалка	39
Сентябрь на Сылве.....	40
Мценск.....	41
Просыпаясь	42
Берег	43
Перышко.....	44
Попутное	45
«Придумаю: «Ушла, оставив сны»...»	46
«В эту погоду, когда крыши кидаются снегом...»	47
Северное.....	48
МТС	49
«На вокзалах они виноградные...»	50
«Улицы и другие большие реки...»	51
Ашан	52
«Это — вроде огненного змия...»	53

Андрей Пермяков

СПЛОШНАЯ ОБЛАЧНОСТЬ

Редакторы-составители — Ирина Каренина, Андрей Пермяков

Верстка — Е. Касьянова

ООО «Свое издательство»
199004, Санкт-Петербург, 1-ая линия В. О., 42

Тел.: (812) 612–18–81

isvoe.ru_editor@isvoe.ru

Подписано в печать: 12.09.2013

Гарнитура РТ Serif.

Печать цифровая.

Печать по требованию.